

An impressionistic painting of a city street scene. In the center, a church with a red roof and a tall, ornate clock tower with a blue and white facade. The street is filled with people, and the background shows other buildings and a bright sky. The style is characterized by visible brushstrokes and a vibrant color palette.

Виктор Меркушев

КАЛАНДАР

Виктор Меркушев
Каландар (сборник)

«Знакъ»

2019

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Меркушев В. В.

Каландар (сборник) / В. В. Меркушев — «Знакъ», 2019

ISBN 978-5-91638-154-2

«Каландар» – повесть о попытке человека понять замысел Творения и найти своё место во Вселенной. А также о вечном стремлении человека к разгадке сокровенных тайн бытия и желании выйти за пределы тех возможностей, которые даровала ему природа. Герой повествования не только спорит с судьбой и преодолевает её предопределения, но и оказывается свидетелем Проводников времён и событий, фундаментально изменивших общество и окружающий мир.

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-91638-154-2

© Меркушев В. В., 2019

© Знакъ, 2019

Содержание

Незабудки	6
«Вновь я посетил»	7
Lucky lozer	9
Сквозняк из небытия	10
Выиграть у судьбы	13
Последний корабль в Лиссе	21
Высокая параллель	22
Фата-моргана	25
Эффект наблюдателя	32
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Виктор Владимирович Меркушев

Каландар

© Меркушев В.В., 2019

© «Знакъ», 2019

Незабудки

Каджисек любил эти удивительные цветы, разбросанные крошечными брызгами бирюзы по изумрудному покрову лета. Невнимательному глазу они могли бы показаться совершенно сорной травой, не держись они вместе, раскрашивая тысячами и тысячами атласных лепестков угрюмую землю в ослепительный цвет неба.

Любая встреча с ними надолго оставалась в памяти Каджисека, словно не было ничего важнее этой внезапной голубизны, распадающейся при ближайшем рассмотрении на нежные звёздчатые соцветия, блестящие, гладкие, с тончайшим перламутровым ободком.

А, может быть, и действительно – не было ничего важнее...

Он вглядывался в их бездонную бирюзу и где-то там, в глубине, встречал влюблённый взгляд знакомых голубых глаз, словно в сияющих округлых лепестках навсегда остановилось время.

«Не забудь меня, не забудь...», – звенело по всей земле смешливое эхо, только Каджисеку ни к чему было такое напутствие: он и так всегда и везде её помнил. Имей Каджисек даже целую сотню жизней – в любой из них всё равно для неё оставалось бы место. Забыть её – означало свести на нет саму жизнь, зачеркнуть не только дозволенное ею малозаметное существование Каджисека, но и приравнять к нулю жизнь как таковую, со всем её многообразием и монументальным величием. Не зря же незабудки воскрешали своей магией отвлечённые от его воспалённой памяти давнишние впечатления: опустевшие аллеи Летнего сада, невскую рябь с запутавшимися в ней отражениями, мосты с тяжёлыми парапетами и мокрые асфальтовые мостовые... Непонятно зачем и почему перед его внутренним взором возникал солнечный луг, над которым жужжали неутомимые шмели, порхали разноцветные бабочки и шелестели стрекозы. В траве переливались драгоценными спинками полевые жуки, и искрились то здесь, то там голубоглазые незабудки – как знак её неизменного присутствия во всём, где утверждалась и торжествовала жизнь.

«Как же так! – сокрушался Каджисек. – Раз жизнь настолько искусно и гармонично устроена, отчего ж он один посреди её лучезарного праздника?» Да, совсем один, если, конечно, не брать в расчёт соседство небесно-голубых цветов, таких чистых и ясных, точно его счастливая память.

Но слова Каджисека тонули в праздничной суматохе безудержного ликования – карнавал жизни не умел слушать и говорить: он не только не был готов внимать доводам рассудка, но и попросту не знал и не понимал слов, уподобляясь царящему здесь счастью.

Карнавальная искристая бирюза мерцала случайными огоньками, заставляя Каджисека забыть о своей нескладной судьбе, о поблекших надеждах и о его собственной малости перед невозмутимым лицом несбывшегося. Он видел только обращённые к нему сонмы дивных голубых цветов, лёгких, как память, и светлых, как счастливый взгляд из прошлого, не способный ни исчезнуть, ни затеряться. Тогда само неумолимое время теряло присущую ему последовательность и необратимость: Каджисек будто поднимался высоко-высоко к небу, на холодноватом глянце которого мог разглядеть диковинные картинки, где он и она куда-то шли, взявшись за руки, по залитому солнцем лугу, густо усыпанному незабудками. И эти картинки не были отмечены ни прошлым, ни будущим; не принадлежали ни к грёзам, ни к воспоминаниям... Они были самым истинным настоящим, разве что без привязки к определённому месту и пребывающими вне времени. А вокруг них летали бабочки и парили стрекозы – жизнь ликовала и множилась от переполнявшего её счастья...

«Вновь я посетил»

В это трудно поверить, но всего в двух рядах от меня сидел тот, кто неотступно занимал мои мысли и чьи бессмертные тексты я давно уже выучил наизусть. Весь стол у него был загромождён его собственными сочинениями и всевозможными книгами о нём, в которых он представлял то отшельником, то бретёром, то гулякой праздным, то неутомимым тружеником или философом, то вольнодумцем, то ретроградом, либо ещё неизвестно кем.

Время от времени он отрывался от очередной книги, закидывал назад голову и долго смеялся беззвучным смехом, блистая рядом удивительно белых и ровных зубов. Странно, что ни на одном из портретов и скульптурных изображений я никогда не видел его смеющимся, тогда как в таком ироничном обличье он казался мне гораздо более убедительным, нежели в застывших задумчивых позах, какими любили его наделять наши замечательные мастера.

Очевидно, он читал предисловия к своим изданиям и находил их забавными или даже смешными.

Я с беспокойством изучал стопки книг на его столе, опасаясь обнаружить там что-нибудь узнаваемое, к выпуску которого имел хоть какое-нибудь отношение. Не заметив там ничего крамольного, я облегчённо вздохнул и теперь уже без боязни смотрел на своего кумира, втайне надеясь на его, если не дружеское, то снисходительное расположение.

Меня не удивляло, что он не проявляет ни к кому никакого интереса, зато поражало невнимание окружающих его людей: никто не вглядывался придирчивым взором в его характерный профиль и словно не замечал знакомых всякому нерадивому школяру его непослушных кудрей.

Видимо, лишь я один обнаружил его необъявленное присутствие, и мне стало страшно любопытно, что же он написал в своём библиотечном формуляре – неужто свою подлинную фамилию или всё-таки по привычке ограничился псевдонимом.

Пока я продумывал возможные варианты моего нечаянного знакомства, он вдруг засобирался, посчитав изучение материалов о себе делом законченным.

По моим прикидкам, он не просмотрел даже дюжины от заказанных книг; особенно мне было непонятно, что его могло в них так рассмешить. Какие-то из этих книг мне были хорошо известны, и я не находил в них ничего весёлого.

Не потеряв окончательно надежды пообщаться с поэтом, я направился за ним следом.

Угнаться за моим героем оказалось непростым делом. Он шёл быстро, ловко уклоняясь от нерасторопных прохожих, наверное, петляя по тротуару на манер того зайца, что некогда перебежал ему дорогу в охваченный восстанием Петербург.

Вынужденный повторять все его телодвижения, я заметно подустал; моя надежда, что он всё же воспользуется городским транспортом, тоже не оправдалась, хотя оно, может быть, и к лучшему.

Он шёл будто бы не замечая ни крикливых реклам, ни нелепых строений, вклинившихся между домами, хорошо известными ему с детства, ни одетых совершенно по другой моде встречающих горожан.

Мне удалось немного перевести дух лишь на Стрелке Васильевского острова, где он ненадолго притормозил, дабы окинуть взором Невскую панораму, да ещё на углу Эрмитажа, где он задержался, рассматривая какие-то окна на уровне второго или третьего этажа. Затем он двинул через Дворцовую, и я побежал вслед за ним, стараясь держаться чуть поодаль, но так, чтобы не отстать и не потерять его из виду.

Я был сильно удивлён, когда он не пошёл «к себе» через Певческий мост, а завернул по набережной Мойки в направлении дома Адамини.

Внезапно он резко притормозил, остановившись на узкой площадке возле гранитной лестницы, ведущей к пришвартованным лодкам и катерам. Я ловко проскользнул мимо него и спрятался за углом дома с небольшим сквером, откуда мог незаметно наблюдать, не опасаясь быть застигнутым врасплох.

Всё-таки каким же чудом его сюда занесло? Помнится, великий мистик и фантазёр, ставший классиком уже при жизни, предрекал ему возвращение через двести лет. Срок он указал совершенно точно, не уточнив, правда, в каком качестве и каким образом он вернётся в Россию: собственной ли персоной или же воплотится в потомках свободолюбивым гением, так счастливо соединившим в себе духовность и просвещение. Но, видно, он всё-таки решил пожаловать лично, во всём величии и блеске, вместо того чтобы незримо встраиваться в национальный характер, в коллективное бессознательное и русский менталитет.

Подставив лицо балтийскому ветру, пришелец вглядывался вдаль, на Запад, точно наблюдал там что-то такое, что занимало его больше, нежели потоки машин, ползущих по набережным, чем выросшие из тротуаров электрические фонари или плотная паутина из проводов, нависающая над домами и сползающая с крыш к Конюшенному мосту. Может, он видел там окно, которое некогда прорубил воспетый им император, а, может быть, он созерцал там свою «непокорную главу», вознёсшуюся выше упомянутого им «Александрийского столпа», невидимого отсюда из-за громадного зелёного дома, заслонившего всю перспективу Дворцовой.

Я больше не имел желания вступать с ним в диалог. Что мне сказать ему, чем его удивить, чем порадовать и обнадёжить? Я стоял перед ним как бедный Евгений перед Медным истуканом, раздираемый теми же сомнениями и теми же страхами.

И здесь мне показалось, что с шумным порывом ветра слилась его далёкая, приглушённая речь: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое»... В это самое мгновение я потерял его из вида, поскольку выглянувшее из-за домов солнце ослепило меня, бросив с блистающей высоты золотистую сияющую вспышку. От этого внезапного озарения мне отчего-то захотелось подняться ввысь, выше накрывшей город паутины из проводов и антенн, подняться над горделивым Медным всадником и «Александрийским столпом», чтобы смотреть на город, да что там на город – на весь мир только оттуда, с сиятельной высоты, куда был так пристально устремлён его всевидящий взгляд.

Тем временем поблизости кто-то хрипловато закашлял и волшебное наваждение рассыпалось вдребезги.

Я глянул на залитую солнцем набережную, но там уже никого не было. Выбежав к парапету и посмотрев в сторону Дворцовой, откуда всё-таки видна была часть венчавшей её Александровской колонны, я обнаружил прямо над головой бронзового ангела тающее облако, в котором безошибочно можно было узнать чеканный профиль великого поэта.

Lucky lozer

Габриса, замкнутого и нелюдимого человека, вполне можно было бы считать неудачником, если оценивать его дела, сверяясь исключительно с картотекой кадровой службы, куда педантичные сотрудники вносили любые данные, имеющие официальный или рабочий характер. Других людей, кто был бы в состоянии что-либо сообщить о нём, помимо этих хранителей архивных анкет, нашлось бы немного. Только и они мало чем могли поспособствовать в деле создания более-менее достоверного портрета его личности, в котором был бы виден живой человек во всей его индивидуальной неповторимости. А без этого судить о Габрисе, полагаясь лишь на скудные факты и биографические записи, было бы более чем неразумно, ибо ни в единой графе, ни в одном из архивных журналов не будут упомянуты такие наиважнейшие жизненные ценности как счастье, свобода воли или ощущение полноты бытия.

А как раз с этим у нашего героя всё обстояло весьма благополучно, куда успешнее, нежели у некоторых обладателей безупречных анкет. Счастье притягивалось к Габрису как железо к магниту, бежало по его чувствам как ток по электрическим проводам, собиралось в нём как речная вода в море. Этого не знали и не могли знать окружающие его люди, они безуспешно гонялись за счастьем, не понимая, что счастье вездесуще как воздух, и вовсе не выбирает достойных.

Люди даже не знали, что в отличие от света, счастье не нуждалось в отражающих поверхностях и могло отображаться везде, становясь в отражениях лишь более заметным и ярким. Они ловили эти горящие блёстки, наслаждаясь хрупкими мгновениями недолгой жизни блистающих отражений, а само счастье дерзко плескалось рядом, беспечное и бескрайнее как ясное небо.

Когда Габрис указывал другим на настоящее счастье, ему не верили и смеялись над чудакотатым неудачником, предпочитающим иллюзии реальной жизни.

В чём-то он признавал их простоватую правоту, ведь наш счастливчик обращал внимание только на подлинное счастье, которое не могло ни обмануть, ни исчезнуть, и не брал в расчёт его нечаянные отблески и производные фантомы.

Тем не менее счастье накатывало своей невесомой волной на людские души, оставляя в них лёгкие следы, похожие на вдохновение или пленительную мечту. Человеческий разум не замечал этого ровного прибоя, а чувствам всегда было свойственно ошибаться, блуждая и путаясь в отражениях.

Нашего героя, напротив, отличала сверхчуткость восприятия и чистота рассудка, способного распознать разные грани реальности, даже если для одной из них придумано такое неопределённое и неатрибутированное понятие как счастье.

А впереди Габриса, познавшего праведность счастливого бытия, усложняясь и совершенствуясь, шествовала сама жизнь, чтобы обернувшись иметь возможность наблюдать в нём своё абсолютное воплощение в мире, свободном от ветреных иллюзий и своенравного обмана.

Габрис же, не в пример остальным, шёл не оборачиваясь. Впереди синели манящие горизонты грядущего, но если бы ему всё-таки случилось оглянуться, то он мог бы увидеть юношу, под ногами которого расстился мягкий травянистый ковёр, а вверху, над его головой, пели птицы, наполняя духмяный воздух песнями извечного счастья, неспособного ни обмануть, ни исчезнуть.

Сквозняк из небытия

Ветер гнал по пустынным улицам мелкую, точно горчичный порошок, глинистую пыль, кружил в воздухе всякие бумажки и пробовал поднимать вверх разнокалиберный сор с неубранных тротуаров. Эта мусорная взвесь неслась над газонами и ноздреватым асфальтом, ломилась в окна и натывалась на стены, сплошь покрытые, точно ракушечником, коростой из высохшей грязи, песка и тополиного пуха. Впереди, в перспективе улиц, ничего нельзя было разобрать и рассмотреть – взгляд упирался в желтоватый туман, который не обладал выраженной окраской, а имел какое-то иное измерение цвета, подобно «желтым окнам» Александра Блока. Взгляд там обрывался вместе с мыслью, и Станчик не мог понять – жив ли кто-нибудь в этом городе или нет.

Кошмар преследовал Станчика всякий раз, когда перед сном ему случалось услышать в домовых вентиляциях диковую песню ветра или задумчивый посвист сквозняка, как будто вкрадчивая свирель Пана накладывала на привычные звуки магию своих колдовских нот. Недужное сновидение, услышав призывную трель, нетерпеливо топталось в прихожей, заполняя пространство вязкой дремотной тяжестью, налипающей на веки цепким мучительным спудом. И Станчик проваливался в нелепицу сна, оказываясь на самом его дне, разделяя собой мусорные атмосферные потоки, устремлённые в жутковатую западню, заполненную грязным, желтоватым туманом.

Необъяснимое «что-то» мешало Станчику спокойно и беззаботно жить, хотя, казалось бы, все опасения и беспокойства должны были остаться в прошлом. Он владел прекрасным домом, у него была замечательная семья, деньги ему приносили деньги, и вообще: слова «непритязательность» и «простота» – были совсем не про него.

Разве что в молодости Станчик ощущал некоторую нехватку: ему хронически не хватало времени, времени не только для своих научных проектов, но и, как ему казалось, вообще – для жизни.

Теперь для Станчика всё перевернулось: времени для отдыха было так много, что его совсем не оставалось для дела, а наука из тесных лабораторий и испытательных полигонов плавно «перешла» в председательские кресла симпозиумов и конференций. Однако никакого удовлетворения от обилия свободного времени и уважения коллег Станчик не испытывал. Ему казалось, что холодные беспокойные сквозняки неожиданно объявились не только вокруг него, но и внутри, вытягивая из души всё то, что способно было приносить ей радость, будто бы он где-то забыл притворить дверь, за которой клубился жёлтый вездесущий туман или была совершенная пустота, небытие, ничто. А, может быть, распахнутая дверь была лишь его досужей выдумкой, и реальность действительно по всем своим сторонам имела липкую стену тумана, в которой вяз взгляд и о которую спотыкались мысли, теряясь в ней, смешиваясь с песком, серой пылью и тополиным пухом. Мог ли он прежде не замечать такого опасного соседства или же обладал удивительным свойством – проходить сквозь стены? Разумеется, нет, но, скорее всего, для целеустремлённых и обременённых делами людей не существует метафизики, как не существует её для одержимой творческим поиском животворящей природы, которая вечно что-то усовершенствует, выбраковывает и сортирует. Метафизика противостоит созиданию и возникает лишь там, где ей не мешает независимая преобразующая воля, способная не допустить укоренения и разрастания тьмы.

Конечно, иногда ему случалось отвлекаться от своей работы. Эти мгновения Станчик хорошо помнил, и они периодически всплывали в его памяти как светлые переживания, хотя с точки зрения человека, не занятого ничем, в них не было ничего особенного. Стоило Станчику забыться, как в воображении вырастали мокрые дома после майской грозы; ярко-зелёная трава, поднимающаяся над тёмным, подтаявшим снегом; стремительные тучи, плывущие над

домами... Эти отчётливые воспоминания перемешивались в памяти как в калейдоскопе, одаривая бодрящей свежестью, тёплым дыханием лета или пряными запахами осенних трав. Иногда перед ним оказывался глинистый холм за институтом, на который он любил взбираться, чтобы лучше ощущать солнце, провозглашающее внимающему миру свой жизнеутверждающий устав. Станчик помнил, как остро он переживал каждое такое мгновение, как ощущал бойкий и уверенный пульс жизни в любой малой частичке огромного мира, словно был сопричастен ко всему видимому и невидимому, чем так щедро наделила этот мир жизнь. Он переполнялся гордостью от сознания того, что пульс вечной и всепобеждающей жизни бьётся и в его сердце.

Когда судьбе вздумалось перевернуть песочные часы сбывшегося и несбывшегося, Станчик попал в положение рабочего муравья, оказавшегося вне муравейника. То большое и неосознанно важное, предписанное ему как закон, куда-то исчезло, запропало, кануло в невесть откуда взявшееся липкое небытие. Весь ужас этого небытия теперь громоздился перед Станчиком вязкой стеной некогда отложенной жизни, предлагая ему на выбор любую грёзу, застрявшую в жирном расплывшемся теле произошедшего. Всё, чего он был лишён прежде, случилось и явствовало, уже не дразня несбыточностью, а выпячивалось, выступало вперёд, желая оказаться более заметным и привлекательным, нежели тогда, когда Станчик позволял себе об этом только мечтать. Яркие впечатления, трогательные картины душевного уюта и отдохновения тоже пестрели, мерцали и множились, вновь желая обрести плоть, сделаться явью, вернув памятливого созерцателя в то время и в те обстоятельства, когда он был молод и безмятежно счастлив.

Станчик боялся дотрагиваться до липкой стены жёлтого тумана, предполагая, что она сделана из навязчивых грёз и радужных миражей сознания, старательно и надёжно сплетённых в густую клейкую паутину. При всей своей красочности и фееричности, стена представлялась ему явлением весьма опасным и обманчивым, притворно сверкающим фальшивым блеском как дешёвая ёлочная мишура.

Почему паутинная стена казалась ему столь зловещей, Станчик не знал, но что-то подсказывало ему не касаться её и не подходить к ней. Знакомый мотив ветра – прерывистый и шелестящий, шумел у её основания, неся на себе бумажный мусор, дорожную пыль и грязный тополиный пух.

Напротив Станчика, на уровне глаз, бесконечными рядами, сходящимися на горизонте в точку, одна за другой возникали шпалы, последовательно и монотонно являясь между просмоленным щебнем и луговой травой. По соседству, в жёлтой стене, мерцал холодноватыми огнями ночной город. Станчик сразу узнал этот вид с четырнадцатого этажа – он любил смотреть из окна своей лаборатории на пустеющие улицы и засыпающие дома. Его всегда тревожила эта картина, которая казалась ему ещё более волнующей из-за цветных отражений приборных панелей на оконных стёклах и вспышек плазмы на опытных стендах – бесформенных, бледных, чем-то похожих на далёкое северное сияние.

На мгновение он забылся и почувствовал острый запах креозота, которым густо были пропитаны шпалы. Станчик не раз ходил этой забытой железной дорогой до взморья: единожды июльским зноем, когда все опушки и обочины горели фиолетовым пламенем кипрея, и много раз следовал по этому маршруту, прикасаясь к памяти, неизменно обогащаясь новыми впечатлениями и упущенными деталями давнего путешествия.

Он ступал по липким от смолистой испарины шпалам, но не ощущал прежней лёгкости и вовлечённости в праздничный мир, заполненный солнцем и душистым дыханием земли. То ли его смущало молчание птиц, то ли тревожил сквозящий ветерок, тащивший за собой вдоль рельсов невесть откуда взявшийся тополиный пух и бумажный сор.

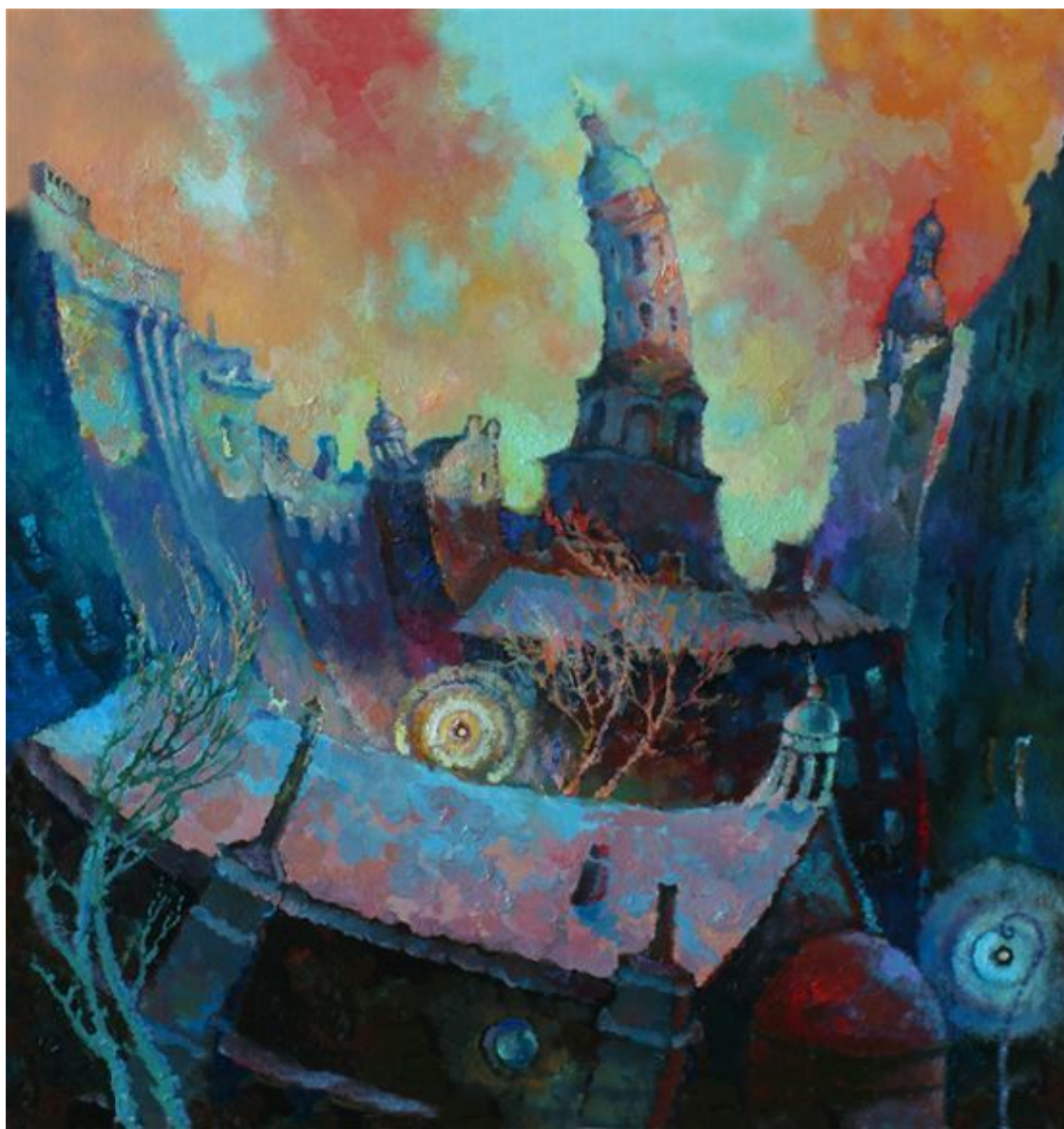
Что-то выпало, исчезло из его жизни, без чего он просто не мог обходиться, чтобы полноценно чувствовать и существовать. Станчик изумлённо смотрел на чёрную точку на горизонте, в которую обратились убегающие из-под его ног шпалы. И справа, и слева её брали в

гигантскую фигурную скобку заполняющиеся городской сутолокой улицы и просыпающиеся дома, которые могли быть хорошо видны только из окон прежней лаборатории, с его высокого четырнадцатого этажа...

Выиграть у судьбы

Разъезжая по свету, Якуб никогда не нарушал установленного в юности чудаковатого правила – начинать приобщение к незнакомому месту со скучного новостроя и заштатных окраин. Поэтому он быстро пересёк привокзальную площадь, тесно обставленную домами средневековой постройки, и направился прочь по одной из нисходящих улиц, быстро и ни на что не отвлекаясь, будто бы знал – куда и зачем шёл.

На первый взгляд городок представился ему обычным провинциальным местечком, но впечатление, что он уже некогда здесь был, не покидало Якуба. По пути он то тут, то там замечал множество знакомых мелочей, бережно сохранённых памятью для того, чтобы теперь необъяснимо-чудесным образом воплотиться в чуждой для них городской среде.



Он шёл по заезженной булыжной мостовой, без конца оборачиваясь на разного рода приметные детали, легко угадывая откуда они родом: из прошлого, из его грёзы, из прочитанной книги или откуда-нибудь ещё.

Внизу улицы дома уже не стояли прижавшись друг к другу как наверху: их разделяли длинные ограды и небольшие дворики с разбитыми там цветниками, да и мостовая потеряла свою укатанность и блеск, в конце концов, остановившись перед маленьким ресторанчиком, перегородившим улицу и образовавшим тем самым своеобразный тупик.

Якуб никогда не пользовался услугами подобных заведений и был готов тотчас развернуться и пойти прочь, но через стеклянную дверь ресторана увидел бармена за стойкой, чьё лицо показалось ему знакомым, хотя память на этот раз смолчала, не выдав его ни намёком, ни тенью догадки.

Сказать, что это был просто человек, которого он запомнил, Якуб не мог. Якуб был уверен, что никогда его не видел, но тем не менее знал.

Само по себе это было нелепо и странно, но Якубу пришла в голову ещё более дикая и ужасная мысль.



А что если всё его путешествие сюда, куда он так стремился неизвестно почему, имело всего лишь одну- единственную цель – встретиться с этим странным барменом, к которому неожиданно привёл его случайный маршрут. Но только случайный ли?

Возможно, его здесь ожидали с истовой терпеливостью хищного зверя с того самого времени, когда у Якуба впервые появилось необъяснимое желание посетить этот ничем не примечательный городок.

Собравшись с духом, Якуб толкнул стеклянную дверь заведения и очутился лицом к лицу со стоящим за стойкой.

Бармен был смугл и темноволос, его близко посаженные глаза смеялись в лукавом прищуре из-под тяжёлых надбровных дуг, но Якубу отчего-то больше всего не понравилась его тонкая полуулыбка, по которой было невозможно определить ни степени расположения, ни степени неприятия к гостю.

Якуб, кажется, начинал понимать, что в поиске следов таинственного знакомого незнакомца не было смысла перебирать всех, с кем его, так или иначе, сводила судьба. Недаром же вместо человеческих лиц перед его глазами чернел вязкий ил торфяных озёр, уходящий с топких берегов на неведомую глубину; пестрели тлеющие угли прогоревшего костра, то вспыхивающие пурпурным огнём, то осыпающиеся чёрной золой; и лениво качалась потревоженная упавшей каплей бурая сердцевина цветка, отливающая густым, медовым блеском непобедимой природы.

На память приходило и другое. Якуб снова видел как пристально вглядывалось в него усыпанное звёздами небо, когда на верхней палубе океанического лайнера ему привелось встречать крошечную южную ночь. Он прекрасно помнил, как внимательно и долго смотрели они друг на друга – ещё совсем юный Якуб и заросшая красноватой густой тиной лагуна, исчерченная вдоль и поперёк проворными стайками рыб и лёгкими отражениями заревых облаков.

Тысячи раз он мог наблюдать этот изучающий взгляд – в лесу, в поле, в горных ущельях, в тихих заводях рек или в мутной толще подтаявших ледников.

Якуб огляделся. Заведение пустовало, кроме бармена и двух мужчин в самом дальнем углу, в помещении никого не было.

Якуб сел за стойкой, как раз напротив своего визави, считая правильным быть поближе к возможному собеседнику.

Бармен смешал в бокале две золотистые жидкости, отчего содержимое стало нежно-голубым словно медно-солевой раствор. Якуб недоверчиво посмотрел на напиток, но бармен решительно придвинул бокал своему долгожданному посетителю. У Якуба исчезли последние сомнения – зачем и почему он здесь. Где-то далеко, на периферии сознания, вспыхнула и погасла мысль о свободе выбора, о диктате обстоятельств и независимой воле. Но разум почему-то оставил её без внимания, сосредоточившись на тонкой полуулыбке бармена, прочитывая её не иначе как гримасу судьбы, которая ещё не решила как ей поступить – объявить ли несчастливцу очередной проигрыш или всё-таки дать ему возможность уйти «при своих».

Якуб взял бокал за витиеватую ножку, напоминающую цветочный стебель, и увидел, что зелье снова поменяло цвет, сделавшись похожим на желтоватую меловую взвесь или топлёное молоко.

Вкус напитка Якуб не ощутил, зато услышал, как помещение наполнилось звоном цикад и гудением луговых насекомых. Он увидел как побеги ярко-зелёного плюща, на котором нежными ажурными звёздочками вспыхнули сиреневатые цветы, оплели мебель и стены, окна и барную стойку.

Сочные краски лета окружили Якуба со всех сторон, точно искусный художник быстро и ловко успел записать всё пространство прихотливыми цветными мазками, источающими ароматы трав и цветов, от которых исходило тёплое дыхание и первозданная свежесть живой природы. В открывшемся Якубу царстве Флоры не наблюдалось никаких следов человеческого присутствия, что выглядело, собственно, вполне логично, учитывая заполненность буйной растительностью всего обозримого пространства.

Якуб и сам не понимал, отчего он получил такой мощный прилив бодрости духа и жизненной силы. Возможно, это происходило оттого, что он впервые почувствовал себя по-настоящему свободным от общества, от отношений, от своих социальных ролей и обязательств.

Воздух, наполненный пьянящими запахами и испарениями земли, казался густым и вязким будто мёд, но дышалось на удивление легко: Якуб почти не ощущал своего тела, словно стал частью этого яркого зелёного мира и растворился в нём.

Он радовался возможности пребывать здесь, где жизнь представляла собой единственную ценность, где были ни к чему её метафорические эквиваленты или догматические системы, уводящие сознание от естественной радости бытия, где становились лишними все человеческие слова и любые облечённые в них мысли.

«Всё зависит от точки наблюдения и от степени упрощения. – Бармен невесело улыбался и смотрел через Якуба, будто бы искал взглядом что-то такое, что никак не мог заметить его невнимательный собеседник. – Обладай создания Флоры разумом и рефлексией, они, в отличие от тебя, не столь восторженно принимали бы свой мир. В нём та же беспощадная борьба за место под солнцем, то же право сильного и всё тот же неумолимый алгоритм естественного отбора».

Якубу меньше всего хотелось думать теперь о природных началах и принципах организации жизни растений. Его более чем устраивала система координат, в которой он оказывался пассивным наблюдателем безмолвного обитаемого пространства, свободного от накопившихся в последнее время недужных обязательств, неизвестно ради чего взятых, от пристрастности и непонимания окружающих его людей, от пустых разговоров, от бессмысленных и опустошающих душу знакомств... От всего, что было способно отягощать чувства и разум, вдалеке от тесного и крикливого пространства, наполненного сердитыми озабоченными людьми, в котором так непросто жить и так трудно дышать.

Хор цикад становился всё звонче и прибавлялся новыми голосами, которые уже мало напоминали неорганизованное пение насекомых. На трели и посвист невидимого хора накладывалась отчётливо различимая музыка – проникновенная и волнующая, точно прилетевшая к Якубу из детства, когда любые звуки окружавшего его мира соединялись в мелодию, которой заполнялось всё, что нужно было познать и осмыслить.

Где-то почти рядом прозвенел то ли звоночек, то ли колокольчик, и Якуб увидел на фоне значительно отступившей зелени Марека Мигуловича, своего соученика из 2-го «А», драчливого и неугомонного мальчишку, бесцеремонно набивавшегося ему в друзья. Было невозможно забыть, как он пытался прятаться от Мигуловича, как тот был упрям и настойчив в поиске «друга», был напорист настолько, что на какие бы ухищрения и ловкости ни шёл Якуб в стараниях замотать неугомонного следопыта, Марек редко когда не умел разыскать Якуба. Да, ничего не помогало неудачливому беглецу миновать тягостного контакта с бойким, неунывающим приставайлой. В конце концов, Якубу пришлось признать очевидное: Марек – действительно, его лучший друг и неизменный спутник.

Вот и теперь Якуб с опаской смотрел на юного Мигуловича и поражался искусству бармена в деле материализации образов его памяти, тем мелочам, что убедительно подчёркивали не только внешнее сходство, но и воссоздавали точный психологический портрет. Чего только стоили такие характерные детали как большое масляное пятно на рукаве форменного пиджачка, отсутствующие пуговицы на рубашке и развязавшиеся шнурки его неизменно грязных ботинок. Особенно бросалось в глаза, что на запястье сорванца темнела большая фиолетовая клякса. Испачканная рука выделявала в воздухе замысловатую спираль, точно пыталась обнаружить Якуба и приятельски похлопать его по плечу, попутно вымазав чернилами крахмальный воротничок товарища.

При этом лицо Мигуловича выражало крайнее недоумение и трогательную сосредоточенность – он, наверное, так выглядел всегда, когда ему не удавалось найти «друга». Зато в такие

минуты Якуб, избежавший его общества, напротив, ощущал ни с чем несравнимую лёгкость и полноту чувств. Мир представал перед ним как многоцветная мозаика впечатлений, всякая частичка которой светилась немислимым совершенством, нисходящим в душу как откровение, как самая заветная и пленительная тайна Создателя.

Мигулович невидящим взором скользнул по Якубу и, то ли не узнав его, то ли не заметив, начал таять, так и не сумев приобнять товарища за плечо, что позволило Якубу сохранить в неприкосновенности свой чистый крахмальный воротничок.

Исчезновение Марека, по-видимому, дало старт сразу двум встречным, конкурирующим между собой, событиям. С одной стороны, помещение заполнялось людьми, располагавшимися за столиками и за барной стойкой, с другой – на них наступала от расползающихся кулис живая лавина вечнозелёного плюща, выбрасывающая из своего тела цепкие хоботки, которые обвивали упругими узелками всё, что попадалось на их пути.

Похоже, победы в этом противостоянии не удавалось достичь ни одной из сторон. Заполнившие помещение люди, состоящие сплошь из знакомых Якубу лиц, не могли подняться со своих мест, хотя очень того желали и даже делали какие-то знаки, чтобы быть замеченными и получить от Якуба толику внимания.

Кого только тут не было: по сути, перед нашим героем развернулась вся его жизнь в лицах – жизнь без лакун и изъятий, со всеми понятными-непонятыми связями и случайными-неслучайными людьми.

Бармен изо всех сил пытался кого-то поднять с места, заставить выйти к Якубу, только вопреки всем стараниям у него ничего не получалось. Поняв, что усилия его напрасны, он оставил свои попытки и сам подошёл к Якубу.

Сознание всячески противилось принимать предположение о реальности происходящего, однако неудача с Мигуловичем и вся эта бессильная возня с привлечением в «игру» новых лиц позитивно сказалась на настроении Якуба, обеспечив ему прилив бодрости, оптимизма и счастливого расположения духа.

Что-то активно выступало на стороне Якуба, и это, вероятно, хорошо понимал бармен, осознавая всю сложность воплощения задуманного; было заметно, что это обстоятельство сильно удивляло и расстраивало его.

– Вот этим ты мне всегда не нравился, Якуб. Вечно ты перемешиваешь планы бытия, обходя предопределения и знаки судьбы, точно тебе позволено подменять жребии случая и путать правила большой игры, в которой не ты продумываешь ходы и назначаешь фигуры.

Надо сказать, что Якуб не только не подозревал о наличии приписываемых ему талантов, но и нередко страдал от козней той игры, о которой так откровенно рассуждал бармен.

Впрочем, он прекрасно осознавал, что никакой это не бармен, а самый настоящий крупье за зелёным сукном судьбы. И что его, Якуба, прямо обвиняют в каком-то жульничестве, которое по неизвестным пока причинам оказывается сложно пресечь и благодаря которому ставится под сомнение предсказуемый проигрыш всех, кто вольно или невольно попал под зловещую власть крупье.

– Мне представлялось, что жульничает как раз тот, кто ведёт игру и уже наметил – кому проиграть сейчас, а кому такая участь уготована завтра, резонно заметил Якуб.

Крупье, похоже, было не впервой слышать обвинение в нечестной игре.

– Разве во мне дело, – удивился крупье, – я лишь часть игры, не я её вовсе придумал. Но ты... ты меня огорчаешь.

Крупье осёкся на последнем слове и замолчал.

Сначала молчание заполнило пространство между ним и Якубом; затем перекинулось на весь объём помещения с тесно рассаженными людьми, смирив нетерпеливых и заставив уgomониться пытающихся говорить. И только потом начало разливаться по сознанию Якуба, остановившись у условного рубежа, за которым уже не существовало ни внутренней речи, ни

ясных образов, имеющих отношение к внешнему миру. Дальше мог продвинуться только сам Якуб – дерзкими мыслями, интуитивным посылом, даром воображения... Никакой сторонней силе не дано было преодолеть этот рубеж: там Якуб мог укрыться не только от Мигуловича, но и от всего мира в целом, не опасаясь как за сокрытые здесь сокровенные мечты, так и за все впечатления, которые завязала узелками на память сама его забывчивая жизнь.

Молчание крупье было похоже на растекающийся вечнозелёный плющ: оно цеплялось за мысли Якуба, за его внутренние фразы и было таким же понятным и упругим, как цепкие хоботки сонма ползучих растений.

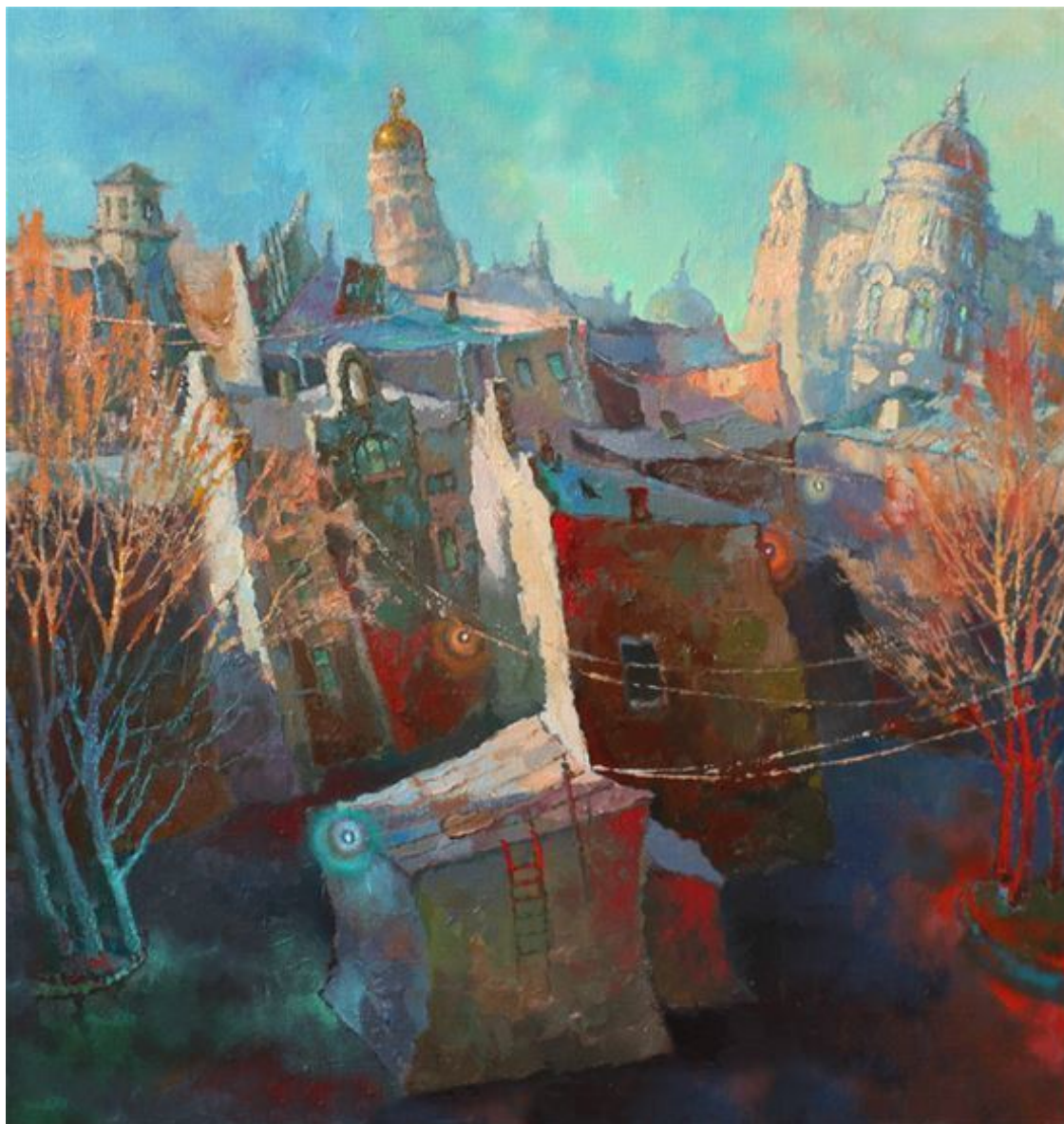
«Я князь мира сего... Но нет в том даже намёка на самовластие, как нет у меня ни малейшей тени величия. Я призван следить за соблюдением ниспосланных правил и призывать к ответу отступников, имеющих дерзость по-своему трактовать охраняемые мной законы и предписания. Тех же, кто не понимает, что творит кощунство и беззаконие, я вынужден возвращать в рамки предначертанного им бытия, ибо нельзя уклоняться от мира, стремиться его переделывать или придумывать свой – реальный или воображаемый. Непозволительно бытовать никакому миру, кроме ниспосланного, и я – князь мира сего. Человек создан для мира, но не мир – для человека...»

Якуб нисколько не удивился этому безмолвному монологу. Более того, он ждал его, словно заранее знал, как будет объяснять внимание к нему «князь мира сего». В одном только до сегодняшнего дня сомневался Якуб: существует ли сам этот «князь», хотя, по логике вещей, он был просто необходим для поддержания системы в том виде, в каком она была задумана её создателем.

Даже если бы Якуб смог догадываться о недопустимости или какой-то крамоле своего поведения, он всё равно бы продолжал выстраивать параллельный мир, где ничего не значили краплённые карты «князя» и где «князь» не имел бы никакой силы. А кто властвовал в этом параллельном мире и властвовал ли вообще, Якуб не знал, но там точно были неведомы азарт и беспокойство, а вместо зелёного сукна судьбы, зеленел заповедный лес, на который не распространялся безжалостный алгоритм естественного отбора, и всем доставало места и щедрого солнца.

Созданная Якубом параллельная вселенная имела довольно-таки странную геометрию: она была совершенно невидима и целиком помещалась в его душе, хотя запросто могла вместить в себя всё сущее, со всеми его океанами и материками. Разве что оказываясь в ней, никто больше не откликался на прежние имена, не помнил о былой сущности и представления не имел о зловещем крупье, склонившимся над зелёным сукном судьбы.

В чём-то Якуб понимал раздосадованного крупье: если он будет не в состоянии усадить «игроков» за свой судьбоносный стол, он не сможет знать будущего, без чего его существование станет бессмысленным и бесполезным. Тем более, ещё неизвестно, чем грозит такое незнание для «мира сего» в целом.



С другой стороны, когда Якуб рассматривал завязанные жизнью на память узелки впечатлений, он не мог не восхищаться их красотой и безупречностью. Все события, наблюдения и все картины реального мира, за которыми так внимательно наблюдал крупье, освобождаясь от его власти, преображались. Они больше не были привязаны ни ко времени, ни к обстоятельствам, ни к причинам их породившим. Совершенные и независимые, они завораживали своими яркими красками и устранили тяжесть земли, побуждая Якуба воспринимать своё прошлое как исключительную ценность, наполняя его жизнь одному ему понятным смыслом.

Ещё раньше, нежели Якуб направился к выходу и приоткрыл стеклянную дверь заведения, он перешагнул условный рубеж внутри самого себя, за которым был бессилён не только «князь», но и стоящая за ним судьба, провозглашающая свой единственный и обязательный вариант будущего.

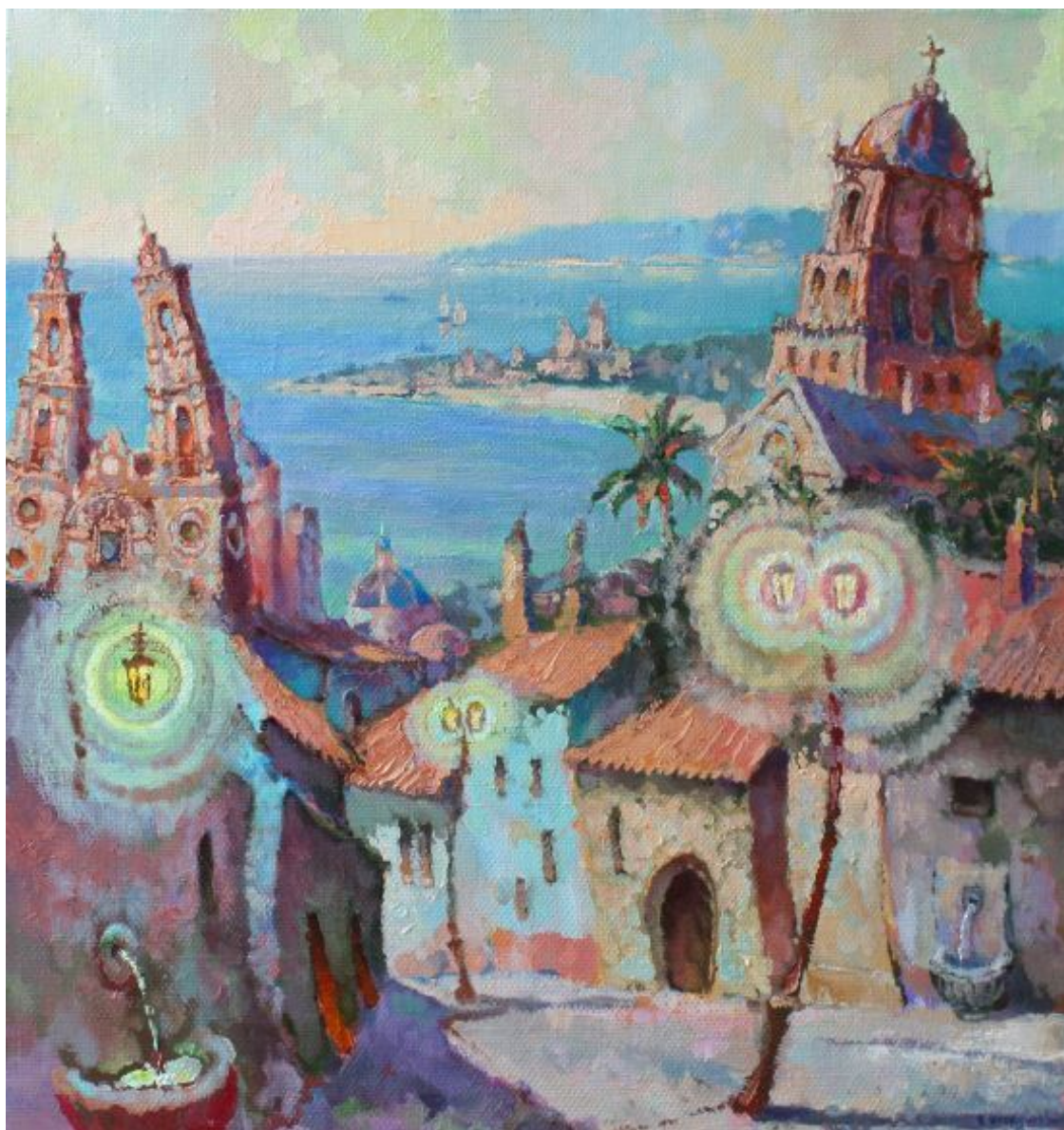
В это самое время у Якуба, может, случайно, а, может быть, и нет, развязался один из узелков памяти, появившийся тогда, когда он некогда шёл по узкой тропинке через снежную целину, а вокруг алмазными искрами сияли звёзды и огни далёкого заполярного города. Якубу тогда казалось, что с каждым шагом они становились всё ближе и ближе, пока, в конце концов, не превратились в лучезарный поток, в свете которого он мог наблюдать идеальные контуры

мира, начертанные по его, Якуба, законам, точно он сам был создателем этой обновлённой вселенной.

Вот и теперь в его душе зажётся тот лучезарный свет – спокойный, яркий, заполняющий собой всё тело и делающий его почти невесомым.

Тем временем в городе вечерняя заря уже сменилась непроглядным сумраком ночи, и звёзды не только украсили фиолетовый купол неба, но и мягко легли на крыши, смешавшись вдали со свечением окон и высоких габаритных огней.

Неизвестно как и почему, но Якуб вновь оказался на той заветной тропинке, ведущей через дикую снежную целину, и поднимался по ней всё выше и выше – над придуманными домами и воображаемыми людьми из несуществующего заведения крупье.



Он даже не сразу заметил, что тропинка уже пролегла не по упругому утопанному насту, а петляла по усыпанным звёздами бескрайним полям мироздания. Увлекая Якуба всё дальше и дальше, она разветвлялась на множество путей, каждый из которых был лишь слегка намечен в надежде на то, что Якуб сможет продолжить его, согласуясь с провозглашёнными некогда законами обновлённой вселенной. Вселенной – единственно реальной и обитаемой из всех замысленных и воплощённых миров.

Последний корабль в Лиссе

Корабль слегка покачивался на лазурной волне, мешая кружащимся над ним птицам удобно рассаживаться на почерневших от времени мачтах с подобранными парусами. Канаты цепко удерживали на приколе его подвижное тело, протянувшись от кнехтов пристани к покатым деревянным бокам старого парусника.

Ноги почти не чувствовали палубы, она мягко выскальзывала, не позволяя ступне в полной мере ощутить её гладкую, тёплую поверхность, будто бы всё это удивительное существо, унизанное леерами, трапами и переборками, не допускало к себе посторонних, не имевших с ним общей судьбы и общей памяти.

А вспомнить последнему кораблю в Лиссе было о чём. О его интересной жизни и теперешнем забвении красноречиво говорила помутневшая корабельная склянка, тронутые бурой ржавчиной поднятые якоря, старинный компас возле капитанской рубки и штурвал из красного дерева с отполированными до блескадесятью рукоятями.

В известном смысле судьба определила этому кораблю участь «летучего голландца», разве что никогда не случится суеверным морякам видеть его далёкий профиль на горизонте или с волнением наблюдать на вершинах неколебимых мачт огни «святого Эльма», проклиная зловещий призрак и отсылая его ко всем четырём стихиям и морскому богу.

Так предписано, что любые корабли, в конце концов, уходят в небытие, оставляя без белоснежных парусов и разноцветных флагов как беспокойные моря, так и приморские города. Со временем города побережья забывают красивые имена своих кораблей, не понимая, что потеряв их, утрачивают не только какую-то частичку своей памяти, но и самих себя. И может статься, что в будущем никто не сможет вспомнить, чем же был замечателен небольшой городок у моря с названием, похожим то ли на шум ветра в поднятых парусах, то ли на звук воды, стекающей с палубы... И ни одному из потомков Гнора, Чаттера или Гарвея ничего не скажет горделивое имя Лисс, придуманное великим романтиком по счастливой подсказке утреннего прибора...

Высокая параллель

Какие бы кульбиты и развороты ни выделявала судьба, она никогда не забрасывала его выше шестидесятой параллели. Поэтому Габирэль даже не знал, каким образом воспринимать своё теперешнее положение: как её подарок или же её немилость.

Хотя в глубине души Габирэль был уверен в её благосклонности и надеялся, что обживаемые им высокие широты, отныне станут той «terra incognita», которая позволит ему быть причастным к безмолвному и таинственному царству арктических морей, гор и пустынь.

Впрочем, места, куда волею судьбы он был определён, не отличались особенным безмолвием и таинственностью. Воздух здесь был наполнен криками птиц и шумом ветров; земля звенела голосами ручьёв и вековых льдов, повсеместно заявлявших о себе из тенистых каньонов и расселин гулкой бесконечной капелью.

Море вообще напоминало гудящий на всех регистрах огромный орган. Габирэль не мог до конца быть уверен, что все его звуки – это лишь гордая песня холодной морской воды. Ему чудилось, что незримый оркестр со всех сторон добавляет звучаний, усиливая дивное пение моря величиим и силой всей северной природы, ибо здесь ничего не выступало поодиночке и не могло отдельно существовать. Поэтому, скорее всего, и ему придётся влиться в этот заповедный, непонятный мир и на какое-то время стать его частью, всецело подчинившись неумолимым законам приполярных областей.

Габирэль быстро понял, что у земли, законы которой ему теперь предстоит неукоснительно соблюдать, есть свои представления о времени и свой специальный масштаб. Что здесь километры, часы и секунды не имеют никакого значения и сравнительно небольшой остров вполне сопоставим с огромным материком, существующим одновременно во всех геологических эпохах, начиная с Архея.

С юга остров высился отвесными скалами, точно отделял себя от освоенных территорий неодолимой границей; с севера же, напротив, входил остроконечным пляжем в безбрежный ледовитый океан, признавая его власть и провозглашая свой особый статут среди бесчисленных островов и земель иных континентов, где хозяином и носителем власти был человек.

Габирэль не зря надеялся оказаться в роли посвящённого, природа здесь совсем не ощущала стороннего человеческого присутствия и вершила свою магию прямо на глазах у случайных свидетелей её вселенского торжества: поднимала тяжёлую толщу воды, обрушиваясь мощным приливом на гранитные сели; зажигала на скалах диковинные цветы; закручивала воздушные потоки, превращая водопады в величественные фонтаны; и, самое главное, формировала из диких стихий атмосферные фронты, посылая их циклонами к далёким материкам.

Габирэль мог наблюдать эти стихии лицом к лицу. Они разворачивались всей своей мощью прямо над каменистым рельефом острова, который сам по себе воплощал застывшую во времени стихию, поскольку именно так выглядела наша Земля многие сотни миллионов лет назад, когда первые растения выходили из океанов на сушу, приживаясь на камнях и скалах цветными лишайниками и зеленоватыми мхами. Вверху, прямо над головой, нависала монументальная картина неба, и ничто не препятствовало его обзору – ни деревья, ни дома, которых здесь или не было, или же они так низко прижимались к земле, что не мешали играм света и цвета на огромном небесном полотне.

Габирэль прибыл сюда, когда в природе торжествовал полярный день, и солнце, едва касаясь горизонта, неутомимо ходило по кругу, щедро засыпая лучами новообретённый мир. Это было похоже на светопреставление, поскольку даже тени состояли из причуд бликов и отражений, отчего объёмы переставали быть таковыми, выбеливались и уплощались, лишаясь тем самым своей трёхмерной структуры, а вместе с ней и отдельного, независимого существования.

Такая особенность не могла быть не подмечена Габирэлем; он допускал, что подобное могло происходить и с ним, как, впрочем, и со всяким, кому случилось оказаться под этим огромным небом, на этом небольшом клочке суши, со всех сторон окружённом холодными водами арктических морей. По крайней мере, многое, что было свойственно обычному человеческому поведению, Габирэль здесь попросту не замечал: ни лжи, ни притворства, ни желания выделиться – точно всё это полагалось несовместимым с суровым северным уставом и вызывало в людях всеобщее неодобрение и безразличность.

Но то, что другим помогало легче сходить и спланиваться в единый дружеский коллектив, на Габирэле сказывалось весьма парадоксальным образом – он стремился стать не столько частью немногочисленного круга себе подобных, сколько быть причастным своему новому миру, к которому были теперь обращены все его мысли. Он искренне желал обрести в нём если не друга, то, по крайней мере, великодушного властелина. Но кем бы ни был Габирэль на самом деле в новом для себя мире, так легко и свободно ему не дышалось нигде. Возможно, такое происходило всё по той же причине: северная природа не допускала притворства, позволяя каждому быть исключительно тем, кем он являлся на самом деле. И Габирэль мог наслаждаться подлинностью своего бытия, освобождённого от условностей и нелепого диктата обстоятельств, оставшихся где-то там, далеко, за шестидесятой параллелью его прежней жизни.

Пожалуй, только благодаря новому укладу Габирэль впервые задумался о сути и значимости своего существования и о своих взаимоотношениях с миром. Он с удивлением обнаружил, что немалое из того, что дотоле казалось ему важным и необходимым, без всякой потери можно было причислить к множеству мнимых и бесполезных вещей. Ценности славы, богатства, признания и даже любви представлялись ему весьма сомнительными, душа никак не отвечала на их призывы, зато она бурно волновалась вместе с пенным дрожащим кружевом, наброшенным на океан, и темнела от тяжёлых туч, суровой материей закрывающих лучезарное полярное небо.

С прежней жизнью Габирэля также случилась занятная метаморфоза: она мутно просвечивала из какой-то невнятной глубины, словно от настоящего её отделяла толстая полупрозрачная стена и лишь отдельные ощущения оставались нетронутыми, напоминая о годах, проведённых далеко отсюда. Запахи старого жилья, парковая скамейка, заляпанная грязными подошвами, вечная сутолока и беспокойство, от которого невозможно ни спрятаться, ни отвлечься – всё это перемешивалось в сознании Габирэля и создавало стойкое представление о жизни как таковой, без недомолвок и допущений. Север же заставил воспринимать жизнь иначе, и Габирэлю казалось, что только здесь, на острове, и началась его подлинная жизнь, такая, каковой ей предполагалось быть изначально, когда человек только лишь вступал на полную надежд и неопределённостей тропу истории.

Суровая правда Севера не позволяла вносить никаких поправок в предписанное человеку содержание бытия; даже само время не могло вмешиваться в этот устоявшийся уклад, вращаясь по кругу, словно полярное солнце, с кануна сотворения всего сущего к эпохе его заката, но не сворачиваясь по своим вселенским измерениям, а переходя на новый, неколебимый виток.

Неизвестно почему, но Габирэль верил, что в том, изначальном своде бытия, человеку предписывалось быть счастливым и что утраченный рай – это не выдумка, не рефлексия на безысходную неустроенность и бессмыслицу происходящего, а далёкое прошлое, детство человечества, когда над ним, как над этим полярным островом, сияло прозрачное негаснущее небо, и на скалах вспыхивали яркие, дикий цветы.

Если прежде Габирэль плохо себе представлял, как может выглядеть счастье, то теперь он доподлинно знал, каким оно может предстать перед каждым из его шести чувств. Впрочем, он отдавал себе отчёт, что слово «знал» не вполне подходит для того состояния сознания, которое теперь вмещало помимо тесных квартир и высоких этажей, маяты дорог, духоты и сутолоки

городов, это огромное пронзительное небо, переходящее в глубокую синь океана, и тяжёлое гранитное тело земли посреди холодных ветров и беспокойных морей.

Судьба возвратила Габирэля к самому себе, ниспослав ему изначальный эдикт бытия, предписывающий человеку сопричастность к суровой земле и высокому небу, возвращающий его к своей утраченной непреложной сути – обыкновенному счастью.

Фата-моргана

*Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум...*

А. Пушкин

*Взгляни: перед тобой играючи идёт
Толпа дорогою привычной...*

М. Лермонтов

Неизвестно почему, но Ласко представлял себе далёкие северные острова не заснеженными и забытыми уголками Земли, а зелёными уютными частичками суши, которые окружены океаном бирюзового или даже зелёного цвета. И что уже совсем может показаться странным: он считал их более пригодными для полноценной жизни, нежели обустроенные миллионные города, если, конечно, рассматривать человеческую жизнь во всей многомерности и глубине присущих ей смыслов и предназначений.

Впрочем, воспринимать жизнь как-то иначе Ласко попросту не умел, так как в высшей степени ответственно относился как к своему делу, так и к тому, что его окружало. Теперь же, когда под винтом вертолёта раскинулась эта незнакомая заполярная земля, Ласко увидел внизу не цветущие зелёные острова, а абстрактное чёрно-белое полотно, в котором пастозная ровная кладка белил была усыпана крупными тёмными точками, точно чья-то лёгкая тонкая кисть прошла по сырому белильному выкрасу сильно разбавленным глубоким индиго. Тот же, кто не ожидал увидеть там ничего необычного, наблюдал не абстрактную живопись природы, а просто смурые вершины скал и ледниковых валунов, выбивавшиеся из-под ровного снежного покрова. Линия берегов заснеженных островов почти не читалась; ясно проглядывались только огромные вышки, которыми, словно чёрными гвоздями, было прибито к промёрзлой земле всё это раскинувшееся перед Ласко абстрактное полотно.

Ласко попытался припомнить виденные им ранее абстрактные произведения выдающихся живописцев. Обычно он миновал их, не задерживаясь, не рассматривая деталей и не запоминая названий. Ничто из всего этого музейного разнообразия не западало в душу, неизменно оставаясь за пределами его художественного восприятия. Но природная абстракция, варварски прибитая возле маленького посёлка без названия, настолько сильно взволновала и расстроила Ласко, что заставила его усомниться в самой идее человеческого присутствия на далёких северных островах.

С земли вторжение сюда людей выглядело уже не столь кошунственным, но мысль о конфликтном характере пребывания в этих местах человека по-прежнему не покидала нашего героя.

Посёлок, а именно так он именовался во всех бумагах и официальных документах, состоял из нескольких строений, выраставших из снега серыми кирпичными телами, сосущими через тусклые окна едва наметившийся щедрый полярный день. В посёлке под проживание было выбрано самое невзрачное здание, к которому, для пущей значимости, была прикреплена табличка с надписью «Общежитие». На табличку, правда, никто не обращал внимания, поскольку за этим приземистым унылым сооружением почему-то прочно закрепилось совсем иное название – «жилой блок».

Жилой блок внутри делился перегородкой из толстой фанеры на примерно две равные части, в одной из которых лепились как пчелиные соты бесчисленные бытовки, а другая была сплошь заставлена кроватями и тумбочками, стоящими столь тесно, что обитателям блока с трудом удавалось протиснуться между ними.

Публика собралась здесь самая разная, хотя большинство всё же составляли вахтовики со стажем: обветренные, грубоватые, не испытывающие никакого дискомфорта от скученности и естественной в таких местах простоты обхождения. Каким образом здесь оказался Ласко, коротко и ясно ответить будет невозможно. Хотя на какой вопрос, касающийся человеческой истории, можно получить простой и однозначный ответ! К слову, если можно было бы спросить саму судьбу, что она думает о счастливых и неудачниках, то наверняка было бы сказано много такого, что вряд ли бы пришлось по вкусу и тем, и другим. Поэтому, лучше её не спрашивать ни о чём: не затем, что так гораздо спокойней и уверенней жить, а просто потому, что будущее образуется при помощи обстоятельств, и некоторые из них люди даже способны создавать себе сами.

Вернёмся, однако ж, к нашему герою. Нельзя сказать, что удача совсем не замечала Ласко.

Если можно было бы понаблюдать за ним со стороны и в своих оценках не подниматься выше обывательских представлений, то справедливо будет признать, что судьба иногда поворачивалась к нему лицом, но только не тогда, когда можно было занять университетскую кафедру или получить достойное вознаграждение за труд.

Проще говоря, Ласко не принадлежал к когорте тех везунчиков, которые могли бы заявить о себе, что счастливый случай радикально поменял их жизнь. Но что это такое – счастливый случай? Сколько раз счастье оборачивалось для обретших его разочарованием или невзгодой, и сколько раз тёмный жребий судьбы выводил человека к новым, дотоле неведомым, горизонтам!

Разве сам человек может знать, что лучше для него, без чего ему не обойтись, а чем желательно пренебречь? Этим, как уж изначально было прописано в приложениях бытия, должна быть озабочена его судьба, невольница всех неодолимых предначертаний и условностей времени, несвободная от сторонней воли и недоброго глаза...

Нетрудно догадаться, что наш герой никогда не рассчитывал на дружеское расположение судьбы. Более того, он считал её органично встроенной в существующий миропорядок, который, если открыто и не враждебен человеку, то, во всяком случае, имеет свои причины противодействовать ему и ограничивать его устремления.

Чтобы представить, насколько всесильно и величественно Мироздание, Ласко даже не нужно было со страхом и трепетом всматриваться в горящие бездны ночных звёзд или следить за тем, какое множество тварных созданий способно уместиться на острие обыкновенной иглы. Биолог по профессии, он лучше других знал, как необычайно сложно устроен человек, как сложна и совершенна всякая его клетка, как безупречно отлажено их взаимодействие и какие удивительные процессы происходят, чтобы в мозгу, наконец, появилась мысль, пробежало воспоминание или нашлось подходящее слово. Что же тогда должно представлять собой целое Мироздание, если столь искусно созданное существо как человек – лишь малый штрих в странном образом сотворённой картине, развёрнутой на весь непостижимый масштаб бесконечной Вселенной?

Эта общая картина мира была ещё менее понятной, нежели любая каверзная заумь, созданная человеческой фантазией, но равнодушно пройти мимо её странностей, не останавливаясь, как он проходил мимо нелепых абстрактных произведений, Ласко не мог. И первый вопрос, который он задал бы Автору, кем бы он ни был, – отчего у людей такое разительное несоответствие между формой и содержанием? Неужели нужно обладать таким высокоразвитым мозгом, чтобы орать песни под три аккорда и выбирать с чего зайти – с червей или с бубей?

К тому же для поддержания существования этого совершенного творения природы необходимо растрачивать бесценные ресурсы Земли, и неужели лишь для того, чтобы оно и дальше стучало костяшками домино по фанерному листу и ругалось с соседями за право занять лучшую бытовку?

Поэтому неудивительно, что у Ласко не находилось ни единого попутчика в свободные часы для прогулок по острову; вахтовики дружно предпочитали отсиживаться в жилом блоке, даже не заглядывая в окна, из которых хорошо был виден постепенно освобождающийся ото льдов северный океан.

А солнце, наконец, сделало свой первый чистый оборот вокруг серых поселковых зданий, чёрных вышек и прибывших сюда нелюбопытных людей, лишь слегка задев ледяные торосы на сверкающем горизонте. Талые воды с шумом неслись в пока ещё спокойный океан, в весеннем порыве позволивший суше ощутить свою независимость и самодостаточность, великодушно отодвинув льды от её берегов широкой зеленоватой полосой. И острова, пользуясь изобилием верного дня, являли свой летний облик, столь же картинно-безупречный, как и зимний, с той лишь разницей, что Ласко уже никоим образом не сравнил бы его с абстракцией. Природа меняла краски, очерчивала линии ложбин и расселин, на побуревшем ковре из отживших трав пробуждала яркие фисташковые побеги, а на поросших цветными лишайниками скалах зажигала ослепительный первоцвет. В отличие от человека, природа абсолютно лишена памяти. В ней всякая новая жизнь произрастает из предыдущей, закономерно уходящей в небытие и обращающейся в ничто: в камень, в мел, в глубинные соки земли.

У людей же, практически не покидавших без надобности жилой блок, всё обстояло по-прежнему: вахтовики курили, травили байки, дулись в карты. Второе начало термодинамики здесь как нельзя лучше демонстрировало свою силу, сообщая подручной материи неудержимое стремление к увеличению энтропии – посёлок прирастал пустыми бочками из-под солярки, бытовым мусором и всяким тряпьем, которое легко преодолевало границы жилого блока и быстро распространялось по всей территории посёлка.

Ласко надеялся, что так же надёжно, как второе начало, способен работать и закон изменённого сознания, когда человек напрямую способен общаться с породившей его природой, с космосом, с самим Мирозданием. В существование такого закона из коллег Ласко мало кто верил, а кто верил, рисковал не только именем, но и добрым отношением друзей и знакомых. Однако, не видя в том ущерба для своей репутации, Ласко, в поисках подтверждения закона, изучал древние культы, духовные практики и ритуалы посвящений, то есть всё то, где могли непосредственно присутствовать механизмы взаимодействия природного и человеческого начала. Такое состояние информативного обмена с природой он называл «точкой абсолюта», однако ничего существенного по этому вопросу всё-таки предъявить не мог: только гипотезы и предположения.

Достичь «точки абсолюта» Ласко пытался и без помощи древних ритуалов шаманов и жрецов. В дело шли заговоры, приёмы медитации, стихотворные послания.

Но земля, вода и небо неколебимо молчали, точно ничего не слышали, несмотря на все ухищрения нашего героя. Молчали в расселинах и каньонах и вековые льды, к которым Ласко обращался чаще всего. Скованные вечной мерзлотой и безмолвием, они лишь сверкали тонкой водяной плёнкой на голубоватых телах и мерцали ослепительными капельками света, которые стекали по их неровным разомлевшим бокам.

Казалось, он часами мог наблюдать за этими водяными метеорами. Они манили, притягивали взор, заставляли вглядываться. Наблюдая за их движением, Ласко неожиданно для себя усмотрел поразительное сходство этих перемещений с движением биоэлектрических импульсов по клеточным сетям головного мозга в то самое время, когда в сознании человека формируются мысли. Прочсть и понять увиденное он не мог, но алгоритм «языка природы» был очевиден, и теперь нащупать искомую «точку абсолюта» было лишь делом времени.

Начать Ласко решил с самого простого. Он попробовал строить короткие вопросительные фразы, стараясь не употреблять прилагательных и многозначных слов. Водяные метеоры, следуя его мыслям, также споро перестраивались, образуя компактные вспышки, различающиеся яркостью и внутренней структурой. Вскоре он уже мог с большой долей вероятности различать в таких символьных композициях отрицательные и утвердительные послания.

Подобное явление имело место везде, где возможно было обозначить визуальную конструкцию: на поверхности океана, в структуре меняющих форму облаков, в клубах тумана, стелющегося по плоскогорью... В шуме волн и посвисте ветра Ласко также усматривал определённые закономерности, позволяющие говорить о наличии единого природного языка, имеющего несколько диалектов. Оставалось только научиться понимать этот язык. Но разве существуют какие-либо преграды для того, кто способен думать, видеть и слышать?

О своём новом умении и диалоговом окне с природой Ласко всё же предпочёл умолчать, хотя прежде полагал, что такое знание и умение общаться с Миром необходимо всем и каждому. Впрочем, многие века шаманы и жрецы, волхвы и посвящённые поступали точно так же, сохраняя в тайне полученное через откровение ведовство.

Причастность к одной из самых значимых загадок бытия во многом преобразила Ласко. Никогда раньше с такой чуткостью и остротой он не замечал, как красивы цветы и прекрасны травы, как прихотливо источен северными ветрами прибрежный гранит, какой живительной свежестью наполнены первые капли дождя и как мелодично поют водопады, устремляясь со скал к солёной морской воде. Белая ночь, которую он никогда не любил за болезненность света и унылую бледность тени, теперь очаровывала его свежим румянцем неба и жемчужным блеском необъятной океанской равнины. Неистощимые ледники, раньше представлявшиеся просто незакрашенными пятнами на живописном природном полотне, теперь казались ему хранителями вечности, прячущими в себе вопреки природе такие узелки памяти, из которых легко можно было связать не только всю их историю, но и историю всей этой далёкой заполярной земли.

Здравый смысл подсказывал Ласко, что он не может вечно находиться в «точке абсолюта» и, пока не поздно, нужно использовать открывшееся для него окно диалога с Миром. Справедливости ради, у него был только один вопрос, который стоило задать такому необычному собеседнику, тем более что на него нет и не может быть научного ответа. Никакая из тайн творения не волновала Ласко больше, чем проблема несоответствия в человеке формы и содержания. Зачем человеку дарована столь сложно организованная форма, если практически вся его деятельность неизбежно сводится лишь к факту неумеренного потребления и разрушения среды своего обитания? Ласко понимал, что на такой вопрос даже само Мироздание не способно ответить кратко, а сложного ответа он не сможет грамотно прочесть и правильно понять.

Поэтому он постарался сформулировать проблему настолько кратко и разборчиво, насколько это вообще было возможно. Однако на этот раз он не получил никакого ответа. Лишь на следующий день, выходя к океану, Ласко почувствовал, что случай, который обычно посылается самой судьбой, дабы решительно изменить жизнь и взгляд на окружающий мир, находится совсем рядом. Да, случай подступил к Ласко так близко, что для встречи с ним не обязательно было делать даже лишний шаг навстречу.

Воздух лучился утренним светом, небо ярко горело бирюзой, и его прозрачность и глубину послушно отражал притихший северный океан. Ласко видел как чудно обнажился пронизывающий всё сущее небесный эфир, как его струны, выходя из безбрежной лазури, уходили острыми концами в тяжёлые океанические воды, создавая на горизонте широкий белоснежный экран. Нашему герою было прекрасно известно, что существует такое странное и загадочное оптическое атмосферное явление как фата-моргана, но он не ожидал, что Мироздание на его вчерашний вопрос ответит так необычно.

Сначала Ласко увидел Землю издали, и она показалась ему не голубой планетой, а зеленоватой, точно была создана из полированного амазонита с крупными малахитовыми вставками, в очертании которых он не узнавал прежних материков. Наверное, на Земле уже прошли миллионы лет и на планете не осталось не только прежних делений на страны и города, но исчезли даже сами материки, соединившиеся в единый суперконтинент – своеобразную Пангею геологического будущего Земли. При приближении «малахитовые пластинки» рассыпались на множество мелких, ещё более сложных, которые в свою очередь разделялись на причудливые растительные формы, в которых Ласко не сразу признавал искусственные, рукотворные объекты.

Их соединяли подвижные толстые стебли, за которыми угадывалось беспорядочное сплетение неровных вытянутых плоскостей, чем-то похожих на огромные стручки молодой фасоли. Вокруг не было ни машин, ни какой-либо иной техники. Индустриальных объектов, труб, механизмов и производственных конструкций также нигде не было видно, то ли по причине их полного отсутствия, то ли они тоже выглядели как живые растения. Зато люди почти не изменились, если, конечно, не брать в расчёт холодноватое спокойствие их гладких и тёмных лиц. Возможно, у них просто отсутствовали мимические мышцы, наряду с бровями, ресницами и иным волосяным покровом.

То, что принято называть одеждой, у них выглядело настолько странным, что Ласко вряд ли был способен это описать; таким же странным был и интерьер их жилищ и сооружений.

Пожалуй, внутреннее убранство зданий не столько удивило Ласко, сколько озадачило. Их строения были пустыми, как гладкий стебель бамбука, не имея в себе ничего, что можно было бы отнести к предметам духовной или материальной культуры. Конечно, Ласко и не рассчитывал найти там замусоренные бытовки, убогие тумбочки или тесные кровати, но, по крайней мере, он надеялся увидеть в местах пребывания людей произведения искусства, системные конструкторские решения, интересные цветовые композиции. Неужели они совсем не нуждались в декоративной пластике, картинах, мозаиках, да и просто – в красивых, радующих глаз и душу, вещах?

Но в их мире наличествовало и другое, ничуть не менее странное и удивительное. Биолога поражала царящая повсюду тишина, исполненная величия, торжественности и значения. Естественно, он не мог слышать никаких звуков, но царственную тишину грядущей Земли он ощущал каждой своей клеткой, всей остротой своего шестого чувства или же тем, что прячется за сознанием и доверяет не фактам, числам и документам, а инстинкту и интуиции.

Ласко помнил, что главным его интересом был всё же вопрос о смысле возникновения и бытования человеческого разума в среде, в которой гуманитарное измерение почти не содержит в себе должной интеллектуальной специфики, но никак не вопрос о будущем Земли, людей и их среды обитания. Однако Мироздание и не пыталось продемонстрировать биологу картины грядущего, которое он всё равно бы правильно не прочувствовал и не понял. Но как можно создать представление о предначертанных смыслах бытия и об истинном назначении человека в единой системе миропорядка без обращения в мир тех, у кого уже не существует проблемы несоответствия формы и содержания?

Наверное, сейчас, со стороны, Ласко смотрелся таким же точно существом из будущего, из мира, к которому он едва прикоснулся, на который ему удалось случайно взглянуть через увеличительное стекло фата-морганы. Внешне он был спокоен и умиротворён, поскольку что-то ему подсказывало, что это не просто оптический обман, мираж или игра воображения – это реальная картина будущего человечества и человека, за бытие которого совершенно не следует беспокоиться. То, чего так не хватало современнику нашего биолога, уже сполна присутствовало в этих людях, однако открывалось и нечто иное, что не без труда уживалось с представлением о человеке разумном, совершенном.

А именно такой человек сейчас смотрел прямо в глаза биологу, хотя Ласко чувствовал, что его взгляд не остаётся на сетчатке, а проходит гораздо дальше, пронизывает его насквозь,

проникая прямо в сознание, просачиваясь даже туда, где уже нет места никаким фактам, числам и прочим точным материям.

Ласко не мог, как ни старался, прочитать в этом взгляде ни радости, ни сожаления, ни расположения, ни превосходства – как биолог он понимал, что эмоции всё-таки должны были там присутствовать, однако он их не замечал, не ощущал даже своим чутким шестым чувством.

«Что ж, не приходится удивляться, что у них нет искусства», – промелькнуло у Ласко. Не успел он улыбнуться своей невольно появившейся мысли, как неизвестно откуда объявилась другая: «Искусство как самодостаточное занятие никогда не влечёт за собой непосредственного изменения материи или поля, а всякая бесцельная деятельность – явление, если не вредное, то, во всяком случае, совершенно бесполезное».

Ласко смутился: «А как же Бах, Моцарт, Вивальди? Неужели их гениальными творениями следует жертвовать ради вашей обескураживающей тишины?»

В ответ Ласко услышал чарующую мелодию. В ней нельзя было распознать ни единого инструмента, различить ни одного индивидуального голоса, ни одного отдельного звука. Ласко всем своим нутром ощущал, что она не представляется чем-то отвлечённым, самостоятельным и отдельным, а является, скорее всего, прелюдией, размышлением, предвосхищающим что-то очень важное, что-то необычайно значительное. А далее он услышал, нежели увидел, сбегающиеся и разбегающиеся ряды чисел, пересечения бессчётных множеств и подпространств, строящиеся в матричные формы какие-то значки и незнакомые буквы...

Ласко всегда считал историческим анекдотом, забавной шуткой, рассказ о том, как один великий математик упрекал своего ученика, ставшего поэтом, в недостатке фантазии и воображения для занятий наукой. Теперь Ласко хоть и считал мнение математика предвзятым, но, во всяком случае, хорошо понимал резоны учёного.

Тем временем изображение начало расслаиваться, тончайшие струны эфира, ранее незаметные на его фоне, начали проступать, разделяя наметившиеся слои на ровные квадратные фрагменты.

Биолог понял, что «точка абсолюта» уже пройдена, хотя взор человека из будущего по-прежнему смотрел ему в душу, пусть в никакую душу биолог никогда и не верил. Но ему было приятно ответно смотреть в глаза своему далёкому потомку, который не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а молча сорадуется истине. Это его стараниями Земля оставалась такой зелёной, а сам человек разумным и совершенно свободным.

«Что ж у нас-то не так! Что мешает? – подумалось Ласко. – Разве мы не догадываемся о своих истинных смыслах и подлинных предназначениях? Мы даже о них знаем!»

Ласко вдруг показалось, что губы его визави слегка разошлись в улыбке: «Ничего не мешает. Человечеству тоже необходим случай, радикально меняющий саму жизнь. Случай в состоянии сотворить то, что не имеет возможности осуществить само человечество. Разве оно знает, как ему лучше, без чего ему не обойтись, а чем желательно пренебречь? Случай является по воле судьбы, а смыслы обретаются сами. Только такой случай нельзя однозначно считать счастливым. Как ни печально об этом свидетельствовать, но правильнее будет назвать его роковым. Форма обязана отвечать содержанию только тогда, когда последнее определено и осмыслено».

Душный жилой блок встретил биолога невнятным многоголосым бормотанием и громким постукиванием костяшек домино о гулкий фанерный щит.

«Ага! Вот и господин Ботаник нарисовался! Ну что, поймал свою Нимфузорию за туфельку?» – хриловатым выкриком, похожим на воронье карканье, сборище развязно поприветствовало вошедшего. Вахтовики оживились. Каждый желал обозначить себя задорной шуткой или едким замечанием по поводу учёных, либо же сострить в адрес науки вообще. Самого Ласко старались не задевать, хотя при чём тут Ласко? Действительно, при чём здесь Ласко,

когда очередная пустая бочка из-под соляры загрохотала от дизельной прямиком к океану, уродуя по пути свои слегка припудренные ржавчиною бока...

Эффект наблюдателя

Джиндрич уже ясно различал огни жилых модулей и лабораторий, складов и станционной медсанчасти, зажжённые окна которых были похожи на созвездие Северной Короны, низко нависшее над горизонтом и с первых километров пути указывающее геофизику верное направление. Да, станция была уже совсем близко. Её огоньки теперь горели гораздо ярче скоплений звёзд, проступающих сквозь дымку полярного сияния, объявшего всё небо и раскрасившего свежий снег люминесцентной пастелью.

Несмотря на светлую ночь, Джиндрич то и дело сбивался с тропы, падал и проваливался по пояс. Если бы он знал, что утренняя метель превратит скалистое плоскогорье в равнину, то наверняка остался бы во временном лагере, хотя бы по причине опасений за своё оборудование, которое он давно планировал перенести на станцию, но всё как-то не получалось собраться. А сейчас Джиндрич переключал его из одной руки в другую, используя коробку с приборами как своеобразный объёмистый балансир. Только это мало чем помогало: коробка выскальзывала из рук, падала в снег так, что Джиндрич уже с трудом находил на ней вёрткую пластмассовую ручку. Он с ужасом представлял, что может случиться с приборами после таких опасных кульбитов, но о том, что может стать с ним самим, старался не думать.

Извилистая тропа, занесённая снегом, предательски уходила из-под ног, превращалась в узкую комковатую гать, скользила, заставляла кружиться на одном месте. Всякий раз, теряя тропу, он рисковал оказаться на дне какой-нибудь расщелины, невидимой из-за ровного снега и ночной светотени, делающей плохо различимыми даже его собственные следы.

Смотреть под ноги было бессмысленно, и Джиндрич упрямо глядел вперёд, туда, где станция излучала в пространство не только верный зовущий свет, но и спокойный безопасный уют, до которого геофизику ещё предстояло проделать сложный и опасный путь.

Скалы близ станции изобиловали таким количеством глубоких расселин и провалов, что оставалось уповать исключительно на везение и необыкновенное чутьё, не раз выручавшее Джиндрича в минуты опасности и тревожной неопределённости.

И Джиндрич старался не торопиться. Однако это давалось ему совсем непросто. Он прекрасно понимал, что спешить было глупо, равно как и топтаться на одном месте, рискуя на каждом движении угодить в пропасть. Джиндрич осторожно пробовал на прочность снег вокруг себя, который послушно проседал под его тяжестью, однако внизу была уже не тропа, а изрезанная глубокими морщинами гранитная плита – щербатое от расселин и впадин дно древнего моря, окаменевшее во времена палеозоя и ставшее сушей. А это означало только одно: здесь где-то рядом, под снежным наносом, затаилась коварная обледенелая пропасть, грозящая Джиндричу неминуемой гибелью, ибо никто тут его не обнаружит, не придёт к нему на помощь, более того, в ближайшее время даже не хватится.

Геофизик чувствовал близкое присутствие этой разверстой пропасти, словно *она* обладала одушевлённой субъектностью со своим нравом, причудами и особым пониманием добра и зла, впрочем, как и всеми иными нравственными категориями, по недоразумению приписываемыми лишь человеку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.